

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



←5→

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 5

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 5 / С. Сорокин — «Автор», 2026

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

© Сорокин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Три волны	5
Глава 2. Переправа	11
Глава 3. Чужое добро	19
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 5

Глава 1. Три волны



За час двадцать мы успели пройти скат дважды: сначала каждый вырубил мёрзлую корку пластами, потом пары поменялись местами и углубили ячейки уступом. Бортников проверил два крайних окопа сапогом, молча кивнул и уже повёл взвод обратно, когда с передового поста прибежал Гнутов: у опушки двигалась немецкая цепь. Лопаты бросили в нишу, патроны разобрали на бегу; к девяти каждый лежал у своего сектора.

Они пошли в девять утра, в полный рост.

— Идут, — сказал Опарин, не отрываясь от бруствера, и голос у него был обычный, ворчливый, будто он говорил про дождь, который собирается с утра.

Я подполз к нему и посмотрел через край окопа. Опушка леса напротив стояла тихая, ни ветерка, туман только-только сползал в низину, и по этой открытой низине, по жнивью, растянувшись в цепь, шла немецкая пехота. Шла в полный рост. Не бежала, не пригибалась — шла, как на смотре, винтовки на изготовку, и это спокойствие пугало больше, чем если бы они бежали с криком. Значит, знали, что у нас мало огня. Значит, кто-то у них считал наши стволы так же, как я считал их шеренги.

— Чего они как на параде прут, — пробормотал Опарин, не отводя глаз от поля. — Хоть бы пригнулись для приличия.

— Незачем им гнуться, — сказал я. — Знают, что у нас патронов кот наплакал.

Я насчитал три волны. Первая — метров за шестьсот, вторая ещё дальше, за перелеском, третья угадывалась только по движению на опушке. Между волнами интервал шагов в двести. Умно. Первую положат — вторая пойдёт по трупам первой и доберётся живой.

Времени было немного, и я пошёл вдоль окопа, от бойца к бойцу, потому что каждому в эти минуты нужно было сказать не общее слово, а своё, и я это твёрдо знал ещё с той, прошлой жизни — люди в последнюю тишину перед боем слышат не ободрение, а дело для рук.

Прохор сидел, зажав винтовку между колен, и облизывал губы, снова и снова, будто они у него пересохли до трещин. Простреленное плечо было туго перетянuto; винтовку он укладывал на бруствер и стрелял только с упора, не поднимая больную руку.

— Прохор, — сказал я, присев рядом, — счёт обойм ве́ди вслух. Каждую пятую громко. Мне надо слышать твой голос в этом грохоте, понял? Пятая обойма — кричишь мне.

— А зачем тебе моя пятая обойма, Андрюх? — спросил Прохор, оторвавшись от винтовки и посмотрев на меня с недоумением, всё ещё облизывая губы.

— Затем, что если ты замолчал — значит, с тобой что-то не так, — сказал я. — А если считаешь вслух — значит, руки заняты делом, а не дрожью.

Он закивал слишком часто, но губы облизывать перестал — занялся делом, стал ощупывать подсумок, пересчитывать обоймы пальцами, и лицо у него сделалось сосредоточенным, не испуганным уже, а занятым.

Хвостов стоял, привалившись плечом к стенке окопа, и рука его, та самая, в мозолях от топорича, лежала на цевье винтовки неподвижно, как приколоченная.

— Аким, ты держишь угол на кривую берёзу, — сказал я и показал рукой, — вон ту, с обломанной верхушкой. Как они с ней поравняются — твоя первая пуля. Не раньше. Дистанцию считай по ней, не по мне.

Он посмотрел на берёзу, потом на меня, кивнул один раз, коротко, как гвоздь забил, и я пошёл дальше.

Опарин уже сам вылез с вопросом:

— А мне чего?

— А тебе, Кондрат Силантыч, гранаты в очередь разложить, чтоб рука не искала. РГД-33 по правую руку, три штуки, рукояткой к себе, предохранитель проверен. И не спорь со мной сейчас, разложи молча.

— Я и не спорю, — обиделся Опарин, — я только спросил, а ты уже раскомандовался, будто я сам не знаю, с какой стороны гранату класть.

Он хмыкнул, что-то проворчал под нос про молодых, которые всех умнее, но полез в вещмешок и стал раскладывать гранаты вдоль бруствера, ровно, одна к одной, и по тому, как аккуратно он это делал, было видно — руки у него заняты, а значит, страх туда не пролезет.

Ковалёва я нашёл у пулемёта. Он лежал за ДП, диск был уже поставлен, и рыжие его волосы выбились из-под пилотки на лоб.

— Ковалёв, бьёшь короткими, по пять-семь патронов, не больше. Ствол побереги, других не подвезут. Целься по центру цепи, не по краям — центр они держат гуще.

— Знаю, — буркнул он, не поднимая головы, и передёрнул затвор, но я видел, как побелели костяшки на рукоятке, и не ушёл сразу, постоял рядом, пока он не выдохнул и пальцы не отпустило.

— Не первый раз, Ковалёв, — сказал я тихо.

— Не первый, — согласился он, всё так же глядя в прицел. — А легче не становится.

Дьячкова я отыскал последним — он единственный ещё улыбался, хоть и криво.

— Дьячков, ты у нас глазастый. Смотри за флангами, я сам буду смотреть в центр. Заметишь обход — не ори через всю траншею, беги ко мне.

— Понял, товарищ Гринёв, — сказал он и, кажется, хотел ещё что-то ляпнуть по своей привычке, но не ляпнул, только сглотнул и стал смотреть влево, где траншея заворачивала к опушке.

Бортников стоял на своём месте с самого начала, и я, поравнявшись с ним, ничего ему не сказал — он и так знал своё дело лучше меня, только тяжело кивнул мне, будто принял доклад.

Тишина стояла ещё минуту, может, две. Слышно было, как шуршит под ногами немцев жнивье, и этот звук нарастал медленно, ровно, и от этой ровности мутило больше, чем от крика.

— По команде, — тихо сказал Бортников. — Не раньше.

Первая цепь подошла на триста шагов, потом на двести пятьдесят, и я держал в горле команду, пока не увидел лица — не отдельные лица, а сам факт, что они уже различимы, что это не серая масса, а люди с руками и ногами, и вот тут я закричал:

— Рота, огонь!

Залп ударил разом, десятки винтовок хлопнули почти в одну секунду, и в передней шеренге сразу повалились двое, потом ещё один, и цепь дрогнула, но не побежала — залегла, огрызаясь ответным огнём, и над бруствером засвистело.

Я стрелял и считал. Затвор, патрон, прицел, спуск. Отдача каждый раз била в плечо тупым толчком, и плечо к третьему выстрелу уже ныло, а к десятому горело, будто по нему били палкой. Ствол винтовки нагрелся так, что рука, тронувшая цевье выше положенного, отдёрнулась сама. Дьячков рядом менял обойму и матерился сквозь зубы — руки у него тряслись, и патроны выскакивали из пальцев, падали на дно окопа, и он шарил по земле, находил их вслепую, пихал в пазы криво, перекашивая, дёргал затвор второй раз, третий, пока не встало ровно.

— Дьячков! — крикнул я ему, не оборачиваясь, продолжая стрелять. — Дыши! Не хватай патроны, бери!

— Легко тебе говорить, — прохрипел он, наконец загнав обойму как надо и снова открывая огонь.

ДП забился коротко — Ковалёв держал слово, бил по пять патронов и тут же отпускал гашетку, и после каждой очереди в цепи ложились двое, трое, и было видно даже отсюда, как это косит их ряд за рядом.

— Пятая! — крикнул вдруг Прохор, и голос у него был высокий, сорванный, но он кричал, как я велел, и я успел мельком порадоваться, что дело держит его собранным.

— Слышу! — крикнул я ему в ответ, не сводя глаз с поля. — Дальше считай!

Первая волна залегла, потом попятилась, потом побежала назад, оставляя за собой на жнивье неподвижные и не совсем неподвижные фигуры. Кто-то полз. Кто-то не двигался вовсе.

Мы перестали стрелять почти одновременно, будто сговорились, и в наступившей тишине я услышал крик.

Кричал раненый немец, шагах в ста пятидесяти от нас, тонко, на одной ноте, потом сорвался в слова — я не понимал языка, но понимал зов, — а следом застонал другой, ближе, и третий начал звать по имени, повторяя одно и то же слово снова и снова, и это было хуже выстрелов.

— Не смотри туда, — сказал Бортников рядом, ровно, буднично, будто говорил про погоду, и от этой ровности мне стало ещё тяжелее. — Смотри на опушку. Оттуда следующая волна пойдёт.

Прохор всё равно смотрел на поле, губы у него снова стали сухими, и он опять их облизывал.

— Прохор, — окликнул я его, — обоймы досчитал?

Он вздрогнул, замотал головой, потом кивнул, полез в подсумок, стал считать заново, и взгляд его наконец оторвался от жнивья.

— Три осталось, — сказал он тихо, не глядя на меня.

— Мало, — сказал я. — После боя разживёмся у убитых на бруствере, если что.

Крики не смолкали. Кто-то в нашей траншее — кажется, Гнутов — тихо ругался сквозь зубы, повторяя одно короткое слово, и я его понимал.

Опарин заворочался, потянулся к брустверу, и я поймал его за рукав.

— Куда.

— Да лежит там, кричит...

— Он не наш, Кондрат Силантьич. И до него полтора шага открытого поля под их миномётами. Сиди.

— Я не за тем, чтоб тащить его, — буркнул Опарин, всё ещё глядя в сторону поля с непонятной тоской, — просто крик этот в ушах стоит, спасу нет.

— У всех стоит, — сказал я. — Сиди.

Он сел, тяжело задышал, и лицо у него сделалось таким же серым, как земля вокруг, но он остался на месте.

Пауза длилась минут пять, может, семь — время растягивалось этими криками, и я заставил себя считать наши патроны, чтобы не считать чужие голоса. У меня в подсумке оставалось три обоймы. У Дьячкова, по его докладу, — четыре. Ковалёв сказал коротко: «Два диска ещё».

— Мало, — повторил я вслух, ни к кому особо не обращаясь. — Если вторая волна так же густо пойдёт — не хватит.

— Хватит, — сказал Бортников рядом. — Иначе не хватит нас самих, а патроны найдутся.

Потом крики стали реже — не потому что кому-то полегчало.

Вторая волна пошла иначе. Не цепью в полный рост — перебежками, короткими бросками от воронки к воронке, от ложбины к ложбине, и я сразу увидел, что бьют они не в лоб, а забирают левее, туда, где траншея заворачивала к опушке и где земля давала им укрытие всё ближе и ближе к нашему флангу.

Тут же ударили миномёты. Первая мина легла с недолётом, вторая перелетела, а третья разорвалась уже над самым бруствером, и меня обсыпало землёй, в ушах зазвенело, кто-то закричал справа коротко и оборвался.

Я поднял голову и всё понял разом: миномёт бьёт по центру, чтобы прижать нас к земле, а пехота левым крылом обтекает нас в мёртвой зоне, куда с прямого фронта ДП не достаёт.

— Ковалёв! Ко мне, на левый край, живо!

Он выругался, подхватил ДП и сумку с дисками и побежал пригнувшись вдоль траншеи. Добежал не сразу — упал один раз, когда близко легла мина, отполз, снова побежал, и я считал эти секунды, потому что каждая секунда была шагом, который делали немцы к нашему флангу.

Пока он бежал, я сам бил из винтовки по перебежкам, вёл по фигурам, что мелькали между воронками, и один раз попал — фигура дёрнулась и осталась лежать. Патроны шли быстро, слишком быстро.

Ковалёв доволоч ДП до левого поворота траншеи и с ходу залёт, но пока он ставил сошки, пока ловил в прицел, немцы успели проскочить лишних тридцать шагов, и я знал, что это цена — цена времени, которое ушло на перестановку, и цена самого Ковалёва, который теперь лежал не там, где его прикрывал угол обстрела всей роты, а на отшибе, почти один.

Он открыл огонь, и снова цепь стала редеть, но было поздно останавливать всех — несколько фигур в серых шинелях уже добежали до мёртвой зоны у поворота траншеи, и я услышал, как там, на левом краю, закричали свои.

Я побежал туда сам, с винтовкой наперевес, и то, что я увидел, было уже не боем на расстоянии, а свалкой в тесноте окопа.

Немец, широкоплечий, без каски, свалился прямо в траншею сверху и сшиб Гнутова с ног.

— Держись! — заорал кто-то рядом, и я не сразу понял, кому это кричали — Гнутову или самому себе.

Гнутов, который бегал лучше всех в роте, оказался и в тесноте быстрее — вывернулся из-под немца, ударил его сапёрной лопатой плашмя по голове, и тот обмяк, но за ним в траншею уже прыгал второй, и я не успевал стрелять — в тесноте выстрел был так же опасен своим, как чужим, — и я ударил штыком, коротко, снизу вверх, как учили, и почувствовал, как оружие толкнуло меня назад отдачей чужого тела.

Хвостов рядом работал прикладом, молча, без единого звука, только сопел тяжело, и его мозолистые руки делали это так же ровно, как, наверное, когда-то тесали брёвна.

Свалка длилась недолго — может, минуту, может, две, но эта минута была длиннее всего боя. Когда всё стихло, в траншее на левом краю лежали трое чужих и один свой — Силантьев, молодой боец из соседнего звена. Он присоединился к нам только на прошлой неделе, приехал с Тамбовщины и всё показывал фотографию невесты, мятую, с оторванным уголком.

— Кто это? — выдохнул Гнутов, глядя на убитого своего, всё ещё не отдышавшись после свалки.

— Силантьев, — сказал я. — С Тамбовщины.

— Он же мне вчера карточку показывал, — сказал Гнутов тихо, будто самому себе.

Он лежал теперь с этой фотографией, вывалившейся из кармана гимнастёрки в грязь, и Гнутов, увидев это, замолчал разом, весь свой смех куда-то делся, и он просто наклонился, поднял карточку, отёр её рукавом и сунул себе за пазуху, ничего не сказав.

Оставшиеся немцы, кто мог, отхлынули назад тем же путём, каким пришли, и вторая волна тоже залегла, потом стала отходить, оставляя на поле новые неподвижные фигуры.

Я вернулся к центру траншеи, и там меня встретил Бортников — молча оглядел, увидел, что я цел, и снова стал смотреть на опушку.

— Живой, — сказал я ему, хотя он не спрашивал вслух.

Бортников кивнул один раз и промолчал.

Прошло минут десять. Потом ещё десять. Третья волна, та, что угадывалась в глубине леса, так и не двинулась с места.

— Не идут, — сказал Опарин, и в его голосе не было ни радости, ни облегчения, только удивление, тяжёлое и пустое.

— Некому идти, — сказал Бортников. — Погляди на опушку. Там людей на роту не наберётся уже.

Я посмотрел туда же, куда смотрели все, и увидел то же самое: редкое, разрозненное движение среди деревьев, никакого строя, никакой цепи. Немцы выдохлись на этом участке так же, как выдохлись бы мы, если бы бой продлился ещё час.

Никто не закричал «ура». Никто не вскочил на бруствер. Люди сидели там, где стояли, не поднимая глаз.

Дьячков попытался пошутить, начал было: «Ну что, съели фрицы...» — и осёкся сам, не договорил, потому что шутка не шла, застревала в горле, и он просто сплюнул и стал протирать затвор.

— Не смешно вышло, — сказал он, ни к кому не обращаясь, разглядывая ствол винтовки на свет.

— Не смешно, — согласился Опарин рядом, не поднимая головы.

Бортников пошёл вдоль траншеи, считая вслух, ровным голосом, каким он считал бы мешки на складе, если бы не война:

— Прохор — жив. Хвостов — жив, царапина на руке, перевязать. Опарин — жив. Дьячков — жив. Ковалёв — жив, диски все расстреляны, один заклинило. Гнутов — жив. Гринёв — жив.

Он замолчал на секунду, потом досказал тише:

— Силантьева из второго звена — потеряли. И у Пантелеева на правом фланге, слышно было, двоих недосчитались, ещё уточним. Из роты было сорок один человек к утру. К обеду — тридцать восемь.

— Патронов, — сказал он дальше, уже не мне, а самому себе, обходя бойцов и заглядывая в подсумки, — у роты на круг осталось хорошо если по пятнадцать на брата. Гранат — треть. Дисков к ДП — один целый, один надтреснутый.

— А если снова пойдут? — спросил Прохор тихо, глядя, как Бортников заглядывает в его подсумок.

— Тогда будем считать заново, — сказал Бортников, не поднимая на него взгляда, и пошёл дальше вдоль траншеи.

Ковригин уже пробирался по траншее с сумкой, присел над Хвостовым, стал разматывать бинт быстро, буднично, будто не в первый раз за день, и, наверное, не в первый.

— Терпи, — сказал он Хвостову, туго затягивая повязку на предплечье.

— Терплю, — коротко отозвался Хвостов, не морщась.

Я подошёл к брустверу и посмотрел на поле перед нашей позицией. Оно было усеяно телами — где густо, где редко, и жнивье местами почернело от разрывов. Кто-то из немцев ещё шевелился вдалеке, кто-то уже нет. Ветер наконец поднялся и потянул через поле запах гари и ещё чего-то тяжёлого, о чём не хотелось думать.

Я стоял так долго, пока Бортников не тронул меня за плечо тяжёлой рукой.

— Схорони эти мысли до после боя, Гринёв, — он подтолкнул меня плечом к брустверу. — Сейчас смотри на опушку и считай, сколько у нас патронов до следующего раза.

— А если следующего сегодня не будет? — спросил я, не отрывая взгляда от поля.

— Тогда будет завтра, — сказал Бортников. — Оно всегда бывает.

Я кивнул и стал считать.

Глава 2. Переправа



После полудня нас сняли с удержанного рубежа, и к вечеру рота пешком дошла до переправы. К утру колонна шла по мосту уже третий час.

— Не задерживай, отец, не задерживай! — кричал Бортников на мостках, руками разводя людской ком, точно вброд шёл против течения. — Раненых вперёд, раненых! Обозным стоять!

Мост был так себе мост — три пролёта на сваях, доски в две колеи, перила с одной стороны сбиты снарядами ещё в сентябре. По нему шла отходящая колонна третий час: пехота, санитарные повозки, которые вместо лошадей тащили сами санитары и легкораненые, пушка-сорокапятка на разбитом передке, и следом гражданские — бабы с узлами, старики, детвора вцепилась в подолы. Все хотели пройти первыми, и от этого пробка на подходе к мосту стояла плотная, как на базаре в престольный праздник, только вместо гомона — крик, надрывный, отчаявшийся, и над всем — конский храп, скрип осей, чей-то ровный больничный стон из-под рогожи в передней телеге.

Я стоял у самого въезда с Прохором и следил за очередью. Дело было простое на словах и злое на деле: пропускать раненых, пропускать пушки и то, что может стрелять, а обоз с мукой и барахлом придержать, пока не пройдёт первое. Кто-то на это соглашался, кто-то — нет.

— У меня там девка на телеге, седьмой месяц! — орал мужик в треухе, наваливаясь на жердину, которой Опарин держал очередь. — Пусти, солдат, пусти!

— Раненых пропускаем, — сказал Опарин, не двигаясь с места, только жердину покрепче перехватил. — У тебя не рана, у тебя брюхатая. Раненых, я сказал.

— Да она на сносях, ей хуже, чем раненой!

— Ей мост не провалится, — отрезал Опарин, — а вон тому провалится, у него нога не своя.

Мужик выругался и попятился, а Ковригин, не поднимая головы от бинтов, буднично бросил через плечо:

— Пропустите телегу. У неё точно роды на подходе, я вижу по тому, как она держится.

Опарин без слов отвёл жердину, и телега проехала. Спорить с фельдшером в этом деле никто не спорил — он один во всей роте умел с одного взгляда сказать, кому нужнее.

Я смотрел на всё это и не сразу понял, отчего у меня в животе стянуло холодом задолго до того, как я услышал первый разрыв. Потом дошло. Такую же картину я уже видел — не здесь, не в этой жизни, а в другой, за тридцать пять лет вперёд, на дороге, которую штабные называли неучтённым участком, потому что через неё, по их бумагам, никто идти не должен был. Там тоже стояла колонна на открытом месте, тоже орали, тоже пропихивались вперёд по очереди, и я тогда крикнул своим — не стоять, не стоять на месте, разойтись веером, а меня не услышали за гулом моторов, и через сорок секунд пришло то, что пришло. Я тогда не успел договорить. Здесь я договорить успею — если пойму раньше, чем в тот раз.

— Прохор, — сказал я, — беги вдоль берега шагов на двести, глянь, нет у немца разведки. Одна пара глаз на том берегу — и они всю эту толпу накروют, как курей.

Прохор убежал, не спрашивая, откуда я знаю. Он давно перестал спрашивать.

Разведка объявилась раньше, чем он вернулся. Три фигуры серых на опушке того берега, шагах в четырёхстах, шли не таясь, будто прогуливались, и один остановился, поднял к глазам бинокль, повёл им вдоль моста, вдоль колонны, вдоль подвод. Постоял. Ушёл в кусты вместе с товарищами не спеша, спокойно, зная, что мы их с винтовок на такой дистанции не достанем и стрелять по трём фигурам, обнаруживая позицию, — только вред себе.

— Заметили, — сказал я Бортникову. — Сейчас минуты через десять по нам миномёты положат. Толпу с моста надо сдвигать, сержант, немедленно, пока по головам не легло.

Бортников поглядел на меня, потом на колонну — она стояла плотнее прежнего, потому что на въезде застряла пушка, у неё колесо соскочило с оси, — и не ответил ничего, только повернулся и пошёл к въезду сам, разгонять пробку своими руками, потому что криком её было уже не разогнать.

Мины пришли не через десять минут — через шесть. Первая ударила с недолётом, в воду шагах в двадцати от моста, вскинула столб буро-серой воды и ила, и все, кто был на мосту, замерли на миг — не от разума, а от того звериного, что заставляет замереть перед прыжком, — а потом кинулись кто куда, и мост шатнулся под сапогами, как живой.

Вторая мина легла в самую гущу, там, где стояла застрявшая пушка и вокруг неё толпились люди с подводами. Я видел это с пятидесяти шагов и запомнил на всю оставшуюся жизнь, сколько бы их ни осталось: вспышку, короткую, будто спичка чиркнула не в свою силу, и после неё — не крик даже, а вой, общий, из десятка глоток разом, и лошадь без передних ног ещё пыталась встать на месте, суча кульями, и упала. Мальчонка лет семи сидел рядом с опрокинутой телегой и смотрел на свою руку так, будто она ему не принадлежала, а потом наконец закричал, и крик этот перекрыл всё.

Третья, четвёртая — уже кучнее, немец пристрелялся по видимой цели. Ковригин побежал в самую гущу, не пригибаясь, потому что пригибаться было уже поздно и бессмысленно, и Дьячков за ним, и оба стали таскать людей за телеги, кого можно было утащить.

— Гнутов, за мной! — крикнул я. — Ташим раненых с открытого!

Мы бегали к воронкам и обратно, и я в этой беготне насчитал двоих наших новых — тех, кого рота приняла на пополнение под Дорогобужем, — Синицына и Кулькова. Синицын упал у самой кромки берега, схватившись за живот, и я подполз к нему и понял по тому, как он держался, что не жилец, а Кулькова накрыло осколком в горло возле самой пушки, и он не успел даже упасть — сел на землю и остался сидеть, привалившись к колесу.

Немцы вышли из леса минут через двадцать после первого миномётного залпа — цепью, шагов на триста, неторопливо, зная, что мы с открытого берега смотримся как на ладони, а они под прикрытием кустарника. Я насчитал человек тридцать, две пулемётные точки развернулись сразу, и стало ясно: они хотят взять мост раньше срока, пока по нему ещё идёт народ, — и это меняло всё.

Копать было некогда — переправу держали на голом откосе, ни окопа, ни ровика, только прибрежный ил да песок. Хвостов рубил в это время, топором и двумя пилами, сруб из брёвен

плавника, что валялся на берегу с половодья, — накат в две жерди, брустверов на скорую руку, и туда же — три подводы, перевёрнутые набок, колёсами к немцу, мешки с зерном, что не успели вывезти, укладывали как есть, не разбирая. Опарин с Ковалёвым и его ДП засели за перевёрнутой телегой у самого въезда на мост, там, где насыпь давала хоть какое прикрытие.

— Без команды не бить, — сказал Бортников, проходя вдоль линии низко, чуть не ползком. — Подпустим на двести, там их и наш «максим» с того берега достанет, и ваши винтовки не зря переведём.

Немцы подошли на двести шагов, и тут случилось то, чего я боялся ещё утром, разглядывая карту берега в голове: колонна на мосту не кончилась. По доскам ещё шли последние подводы с ранеными, и позади всех — трое санитаров тащили носилки, и на носилках лежал кто-то с перебинтованной головой, и шли они медленно, потому что быстрее нести раненого нельзя.

— Огонь! — крикнул Бортников, и рота ударила разом, и «максим» с того берега тоже ожил, и цепь немецкая залегла, но не отошла, а стала перебежками сокращать дистанцию, прижимая нас плотным огнём из пулемётов, и щепа полетела с наших срубов, и Гнутов вскрикнул, когда пуля чиркнула по прикладу у самой его руки.

Носилки на мосту были ещё на середине пролёта, когда немецкий пулемётчик перенёс огонь по настилу — то ли увидел, то ли угадал, что там движение, — и доски вспыхнули щепой под очередью, и один из санитаров упал, схватившись за плечо, и носилки чуть не соскользнули в воду.

— Прохор, за мной, тащим носилки! — крикнул я и побежал на мост, а куда деваться было, если два человека там оставались одни под огнём.

Мы добежали до середины, схватили носилки за уцелевшие ручки, и я почувствовал, как доски под ногами дрожат от каждого разрыва рядом, и раненый на носилках — молодой парень, лет двадцати, с половиной лица в бинтах — держал меня за рукав и повторял одно слово, не разобрать какое, может «не бросай», а может просто стонал так. Мы дотащили его до берега, и там уже подхватили другие руки.

Немцы подошли на сто пятьдесят шагов, когда Бортников поднял руку и крикнул мне, перекрывая треск боя:

— Гринёв! Сколько ещё на мосту?

Я обернулся. Мост был почти пуст — только та последняя пушка, что застряла на въезде, всё ещё стояла с соскочившим колесом, и двое бойцов пытались столкнуть её в воду руками, потому что тащить дальше не было ни времени, ни сил.

— Пушку бросай, людей больше нет! — крикнул я тем двоим, и они, не споря, отскочили от орудия и побежали к берегу.

— Хвостов! — крикнул Бортников. — Мост готов?

— Готов, — отозвался Хвостов, уже стоявший у опоры с двумя бутылками зажигательной смеси в руках и запасом соломы, что натаскали под настил ещё с вечера, на всякий случай, и этот случай пришёл. — Только скажи когда, а то и наши не успеют отойти.

Немцы были уже на ста шагах, цепь их поднялась для последнего броска, и в этот миг я понял то, что понимать не хотел: подрывать или жечь надо сейчас, немедленно, потому что через минуту они будут на мосту сами, а если ждать ещё, мост достанется им целым и с ним — дорога вглубь, к тем самым частям, что мы всё утро выпускали через эту переправу. Цена простая: мост горит — и мы сами отрезаем от себя тот берег, где двое наших только что бросили застрявшую пушку и теперь не успевали добежать до нас.

— Жги, — сказал я. — Двое там ещё бегут, но если ждать — они всё равно не успеют, а немец успеет.

Бортников не переспросил. Он поглядел на тот берег, где две фигуры бежали к мосту со стороны немцев, из последних, вырвавшихся сил, и коротко кивнул Хвостову.

— Жги.

Хвостов кинул первую бутылку в солому под настилом, и пламя пошло по сухому дереву быстро, жадно, будто ждало команды. Двое бойцов на том берегу увидели огонь и всё равно кинулись к мосту — не добежали. Один упал шагах в десяти от опоры, срезанный очередью, а второй остановился, поглядел на разгорающийся настил, на тот берег и на этот, и в последний миг бросился в воду, поплыл вниз по течению, и его подхватило и понесло, а мы стреляли поверх его головы, прикрывая, пока он не ушёл под защиту прибрежных кустов.

Первый не встал. Он так и остался лежать на том берегу, у самой горячей опоры, и это осталось на весь остаток дня в глазах у тех, кто видел.

Мост горел ровно, сильно, доски трещали и проваливались одна за другой, и когда обвалился средний пролёт, немецкая цепь, добежавшая до самой воды, остановилась — дальше идти было некуда, разве что вплавь под нашим огнём, а на это охотников не нашлось. Они залегли на своём берегу и стали бить по нашим позициям миномётами ещё минут двадцать, уже без толку, просто со зла, и мы отходили от берега перебежками, утаскивая раненых.

Второй, что доплыл, оказался Векшиным из соседнего взвода, — он лежал на песке, кашлял водой и не мог говорить с четверть часа, только держался за грудь.

Когда стрельба стихла и рота отошла на версту в лес, Бортников встал у края поляны, где сложили убитых — Синицына и Кулькова рядом с тем, безымянным для меня санитаром с того берега, о котором я так и не узнал имени, — и долго молчал, пересчитывая своих по головам.

— Двенадцать раненых вывели, — сказал он наконец, не глядя ни на кого. — Обоз с мукой не весь довели, да и хрен с ним, с обозом. Мост держали, сколько велено, и на час больше держали. — Он поглядел туда, откуда ещё поднимался дым сгоревшей переправы. — Дорого встало, а дешевле не бывает.

Больше он ничего не сказал, только снял пилотку, постоял так минуту, и надел обратно, и пошёл считать патроны.

— Затвор клинит, — сказал Опарин и дёрнул рукоятку так, что весь окоп услышал скрежет.

Я протянул руку, взял у него винтовку. В пазах блестел мокрый песок, налипший после переправы, а старая смазка смешалась с ним в серую кашу.

— Грязью прихватило, — сказал я. — Дед рассказывал, в германскую после дождей так же бывало: масло песок собирает, и затвор в этой каше как муха в смоле.

Опарин засопел, недовольный, что винтовка его подвела, будто она была живая и предала.

— Так что ж теперь, руками её греть?

— Керосином бы промыть, да нет у нас керосина. Тряпкой насухо затвор протереть, грязь из пазов выбрать, масла дать самую малость. — Я разобрал затвор в темноте на ощупь и снял тряпичей серую кашу до железа, до сухого блеска. — Собирай.

Собрал он его сам, я смотрел, чтобы запомнил движение — не в первый раз объяснять, и не в последний. Дед мой в германскую, конечно, не рассказывал мне ничего про масло и мокрый песок, дед мой лежал под могильной плитой в две тысячи двадцать шестом году, если жив ещё был вообще, я не помнил уже точно, столько лет прошло с той жизни, которая мне казалась то сном, то единственной правдой. Знание было моё, знание Клина, который много где вытаскивал оружие из грязи, и я его выдавал по крохам, за спину покойного деда прячась, потому что сказать откуда я знаю на самом деле — это был бы билет либо в трибунал, либо в сумасшедший дом, а мне туда не хотелось ни в тот, ни в другой.

К ночи двадцать пятого октября холод прихватил так, что дневальный, вернувшись от соседей с донесением, доложил Бортникову: на земле тонкая корка, в лужах лёд, а у Пантелеева трофейный немецкий градусник уже показывает минус. Бортников только кивнул, будто цифра ничего не меняла, хотя менялось всё.

— Затворы через час снова проверить, — сказал он. — У кого не идёт — сушить. Патроны от сырости и грязи беречь, забьёт закраину — осечка.

Голос у него был тихий, как всегда, и оттого приказ ложился тяжелее, чем если бы кто орал.

Прохор сидел, завернувшись в две шинели — свою и снятую с убитого немца; полы второй он прихватил поверх первой несколькими стежками суровой нитки, чтобы ветер не распахивал. На руки он дул через варежки, уже дырявые на больших пальцах.

— Андрей, а у тебя руки не мёрзнут? — спросил он, и в голосе была не обида, а какое-то детское удивление, будто я был не такой, как все.

— Мёрзнут, — я сжал пальцы в кулак внутри рукавицы. — Трёшь — только хуже делаешь: кожу на холоде сдираешь. Вон у Гнутова все костяшки в цыпках. Каждый палец к ладони прижми и подожди, не тереби. Своим же теплом согреешь, оно никуда не девается, если его в горсти держать, а не растрясывать.

Прохор попробовал, сжал кулаки в рукавицах, замер, серьёзный весь, как на молитве.

— И правда легче, — сказал он через минуту, будто сам себе не поверил.

— И вот ещё что, — сказал я, потому что раз уж начал, лучше договорить, пока Бортников не рядом слушает с подозрением. — На марше сегодня не кутайся ты так. Взопреешь — а пот на холоде хуже врага. Он тебя изнутри застудит, шинель к телу мокрая прилипнет, и будешь ты к ночи как тряпка выжатая. Лучше зябнуть чуть на ходу, чем взопреть.

— Дед твой это тоже говорил? — Прохор смотрел на меня снизу вверх, доверчиво, как всегда, и мне от этого доверия было стыдно, каждый раз стыдно, хоть я и привык уже.

— Дед, — сказал я. — Он много чего говорил, я половину забыл, вторая половина сама на ум приходит, когда нужно.

Хвостов, сидевший чуть поодаль, оттачивал штык о голенище, неторопливо, будто время у него было бесконечное, а не сорок минут до смены.

— У меня руки от топора привычные, — сказал он вдруг, ни к кому не обращаясь особо. — А всё одно мёрзнут. Топорищем весь день под дождём — оно как чужое дерево делается, не своё, деревянное само.

Это было у него редкое дело — сказать больше двух слов подряд, и все примолкли на секунду, будто он открыл что-то важное.

Водку принесли перед сменой — положенную норму, во фляжке на троих, и Опарин потянулся первым, обрадованный.

— Погоди, — сказал я и руку его придержал за рукав, аккуратно, не грубо. — Перед сменой не пей. На посту через час развезёт, тепло изнутри почудится, а оно обманное. Сосуды раскроются, тепло из тела наружу уйдёт скорее, вот и всё твоё согревание — сам себя обманешь и переохладишься быстрее трезвого.

— Брешешь, — сказал Опарин, но руку убрал. — Водка солдата покоен века греет.

— Греет она изнутри на пять минут, а потом забирает вдвое. Ты после смены выпей, в тепле, когда отогреться уже, а не студиться. — Я говорил это ровно, не споря особо, зная, что спорить с Опариним — только злить его, а вот сказать между делом, как факт, — это он проглотит и подумает потом.

Он подумал. Не сразу, но фляжку до смены не тронул, спрятал за пазуху, ворча под нос, что молодой, а учит старших.

Немца мы взяли в полночь — не пленного, а мёртвого, снятого секретом Дьячкова у самой их проволоки, откуда он полз, видно, до наших позиций разведать что-то и не дополз. Дьячков притащил с него шинель.

— Гляньте, братцы, — сказал он, разворачивая добычу у костра, который жгли в яме, прикрытой плащ-палаткой, чтобы огонь не видать было с их стороны. — Шинелька-то на рыбьем меху.

Шинель и правда была тонкая, сукно жидкое, подкладка какая-то дрянная, вроде байки, и всё это на человеке, который лежал сейчас там, в мокрой траве, уже холодный, — так мне подумалось, глядя на сукно это.

— Сапоги ещё гляньте, — сказал Ковалёв, подошедший от пулемёта размяться, свой ДП оставив на Гнутова на пять минут. Он повернул мёртвого немца, лежавшего пока не убраным у бруствера, носком. — Кожа одна, подмётка тонкая. У нас Ковригин говорил, у них там, в госпитале ихнем пленном, ноги у каждого второго сбиты и размокли. В этих сапогах вода стоит, как в ведре.

— То-то они и лезут в дома, — сказал Хвостов, не отрываясь от штыка. — Не только чтоб пожечь. Погреться лезут. Я слышал, у Пантелеева взяли одного, так у него под шинелью три рубахи бабьих намотано, из деревни спёртых, вместо телогрейки.

Все посмеялись невесело, коротко, потому что на таком холоде даже смех требовал сил, а сил было мало у всех.

— Сапоги бы им сухие прислать, — сказал Прохор, — глядишь, воевать бы разучились.

— Сапоги им Гитлер не прислал, — сказал Дьячков, набрасывая трофейную шинель себе на плечи поверх своей, для тепла, не стыдись. — Думал, они к холодам в Москве чай пить будут. А они вон где чай пьют.

Атака началась в третьем часу, без артиллерии — немцы, видно, тоже вымокли у своих орудий и сэкономили силы не меньше нашего, — просто из темноты пошли цепью, и первое, что мы услышали, не крик и не выстрел, а хлюпанье сапог и шорох мокрой травы под многими ногами разом, ровный, страшный своей размеренностью.

— Приготовиться, — сказал Бортников тихо, и голос его прошёл по цепи от бойца к бойцу без крика, шёпотом почти, и от этого шёпота у меня в груди сжалось знакомое, рабочее.

Я вскинул винтовку, повёл стволом по темноте, ловя движение, и в этот миг Опарин рядом выругался длинно и грязно.

— Не бьёт! — Он дёргал затвор, тот не шёл до конца, застыл на середине хода, будто на невидимой преграде.

— Прикладом об колено! — крикнул я ему, сам уже стреляя, выцеливая тёмную фигуру, которая упала, срезанная то ли моей пулей, то ли соседской. — Резко, с силой, грязь сорвёшь!

Опарин ударил прикладом об колено раз, другой, выматерился, дёрнул затвор — тот пошёл, но туго, со скрежетом, и он выстрелил вслепую, в темноту, лишь бы выстрелить, лишь бы не стоять с мёртвым железом в руках, пока на него идёт цепь.

Ковалёв бил из ДП короткими очередями, и пулемёт его захлёбывался через каждые полсотни выстрелов — влажный песок набивался под диск, и Гнутов рядом вытирал короб тряпкой, стучал по нему рукавицей, сбивая грязь, матерясь так же грязно, как Опарин минуту назад.

— Больше пятнадцати не бери в очередь, перегреешь — заклинит! — крикнул я ему, хотя это он и без меня знал, наверное, но повторить лишний раз в такую минуту не мешало никому.

Немцы залегли шагах в тридцати, начали бить из своих карабинов, и я услышал, как у них тоже что-то клинит — крик по-немецки, короткий, злой, звук удара металла о металл, — грязь была их оружие не хуже нашего, грязь не разбирала, с чьей стороны затвор.

Хвостов бросил гранату — РГД-33, коротко размахнувшись, — и я видел, как он перед этим долго возился с рукояткой, поворачивая предохранительную чеку онемевшими от сырости пальцами, и на секунду мне показалось, что он не успеет, что граната останется у него в руке немой, но он справился, метнул, и там, впереди, ахнуло, и крик оборвался.

— Гринёв! — крикнул Бортников. — Патроны у второго номера кончаются, тащи из ниши!

Я дополз до ниши в стенке окопа, где лежал запасной цинк, и обнаружил, что крышку заклинило ржавчиной и сырой глиной, и я бил по ней прикладом лопаты, пока она не поддавалась, и только тогда достал холодные патроны.

Атаку отбили к четырём — немцы отошли, оставив в мокрой траве перед нашими позициями шесть или семь тёмных фигур, которые больше не двигались и не собирались двигаться, — а мы остались считать своих, и вот тут выяснилось страшное.

Митрохин, молодой боец из второго отделения, присланный к нам на усиление три дня назад, сидел в конце окопа, привалившись к стенке, и не отзывался.

— Митрохин! — тряс его за плечо Дьячков. — Митрохин, ты живой?

Митрохин не отвечал. Лицо его в свете спички, которую поднёс Дьячков, было белое, спокойное, без единой раны, глаза приоткрыты, и по этому спокойствию сразу стало ясно, что дело не в пуле.

Позвали Ковригина. Тот пришёл, присел на корточки, снял варежку, потрогал шею под ухом, потом послушал через шинель, приложив ухо к груди, долго, будто надеялся, что ошибся.

— Кровью истёк и переохладился, — сказал он ровно, буднично, как говорил всегда. — Час, может, полтора как. Раненый был он, не заметили?

— В плечо царапнуло ещё вечером, — сказал кто-то. — Он сказал, пустяк, сам перевязал.

— От потери крови ослаб, а сырой холод добрал остальное, — Ковригин накрыл лицо Митрохина краем шинели. — Сидел тихо, не жаловался, вот и не углядели. Оно так и бывает — не кричит человек, не бьётся, просто засыпает и не просыпается. Тише всех смертей эта смерть, оттого и страшнее прочих.

Он закрыл Митрохину глаза, привычным движением, будто делал это не в первый раз за эту войну, и, наверное, не в первый.

Бортников стоял рядом, молчал долго, потом сказал негромко:

— Кто рядом с ним был, почему не будили каждые четверть часа? Знаете же порядок.

Никто не ответил, потому что отвечать было нечего, порядок все знали, а вот исполнить его в третьем часу ночи, под огнём, когда каждый сам себя еле держал на ногах от сырости, холода и усталости, — это оказалось не так просто, как значилось в порядке.

— Второго тоже проверьте, — Ковригин кивнул на Селезнёва, бойца из хозвзвода, который сидел на дне окопа, обхватив колени, и отзывался на оклик с запозданием. — Этого ещё можно отогреть. В блиндаж его, живо.

Селезнёва подняли, поволокли в блиндаж, где топились маленькая печка, сделанная из железной бочки, с выведенной через накат трубой. Там уже возник спор, потому что дров было мало, а желающих погреться много.

— Двоих больше не пускать, — сказал старшина, заведовавший печкой и дровами как своим имуществом. — Прогорит скорее, до утра не хватит.

— У человека дрожь уже пропала и отвечает с задержкой, — сказал Ковригин, не повышая голоса, но так, что старшина замолчал сразу. — Сухую одежду, тёплое питьё и под две шинели. Двигайся.

Селезнёва раздели по пояс, насухо растёрли шерстяной тряпкой и укутали в чужую шинель, чью-то ещё, потому что своя у него была насквозь мокрая от пота и дождя.

Хвостов молча снял с себя телогрейку, поверх шинели надетую, и накинул на Селезнёва, ничего не сказав, вернулся на своё место в одной шинели, хотя сырой холод брал и его не меньше остальных.

— Простынешь сам, — сказал я ему.

— Не простыну, — сказал он и стал точить штык заново, хотя точить там было уже нечего, просто руки занять надо было, чтобы не думать о холоде, который теперь его собственный, отданный чужому.

К рассвету, серому и медленному, с низкими октябрьскими тучами над лесом, Бортников обошёл позиции, считая людей, и я слышал, как он вслух называл фамилии, коротко, деловито — Опарин, Хвостов, Дьячков, Гнутов, Ковалёв, Селиванов, — и после каждой фамилии сам отвечавший или кто-то за него говорил «здесь», и это «здесь» звучало каждый раз как маленькая победа против той тишины, в которую ушёл Митрохин.

Селезнёва не разбудили — он спал в блиндаже у печки, укрытый двумя шинелями, и Ковригин, выходя оттуда, сказал только:

— Отогрелся. До дня пусть лежит, потом посмотрим.

Митрохина унесли завернутым в плащ-палатку, и понесли его не так, как несут раненого — торопливо, с оглядкой на огонь, — а медленно, ровным шагом, будто спешить ему было уже некуда, и от этой медленности у меня сжалось внутри сильнее, чем от всей ночной стрельбы вместе взятой.

Прохор сидел рядом со мной на дне окопа, кулаки всё так же сжатые в рукавицах, и смотрел, как несут Митрохина, и молчал долго, а потом сказал тихо, не мне и не себе, а будто в пустоту:

— Он же не ранен был почти. Царапина.

Я не ответил ему сразу, потому что ответить было нечего такого, что не прозвучало бы враньём или казённой утешительной фразой, а врать Прохору в такое утро я не мог, и казённое говорить тоже не хотел.

— Холод и кровь не разбирают, царапина или нет, — сказал я наконец. — Была бы слабина.

Бортников подошёл, встал рядом, посмотрел на светлеющее небо, на мокрую стерню впереди окопа с тёмными неподвижными фигурами, которые уже не приберёшь до следующей ночи, и сказал, ни к кому особо не обращаясь, тем же тихим голосом, каким отдавал приказы:

— Живы двадцать из двадцати одного, — Бортников убрал карандаш за обшлаг. — На такую ночь — всё равно счёт, который запомнишь.

Глава 3. Чужое добро



— А я говорю — котелок мой, я его первый увидел! — Гнутов вцепился обеими руками в немецкий котелок, овальный, с откидной крышкой, покрытый серо-зелёной краской, и не отдавал.

— Ты его увидел, когда я его уже из ранца доставал, — сказал Дьячков, не отпуская другую ручку. — Глаза у тебя, Гнутов, как у кота на сметану, а руки медленные.

— Пусти!

— Сам пусти!

Опарин сидел в стороне на снарядном ящике, обстоятельно перебирал горку трофейного добра — три банки консервов с чужими наклейками, моток проволоки, флягу в суконном чехле, кожаный ремень с бляхой, на которой было выбито «Gott mit uns», и что-то маленькое, блестящее, что он держал двумя пальцами на отлёте, будто оно могло укусить.

— Делить надо по уму, а не по кулакам, — сказал он, не поднимая головы. — Иначе один с котелком, а у другого совесть свербит.

— У тебя, Опарин, что там? — Хвостов кивнул на блестящую вещь в его пальцах.

— А шут его знает. Не то свисток, не то зажигалка.

Я подошёл и сразу понял, что это губная гармошка — маленькая, немецкая, десять дырок, с надписью готическими буквами по корпусу, надпись за коркой грязи было не разобрать, но форму я узнал бы и с закрытыми глазами. У меня в прошлой жизни такая же валялась на антресолях, отцовская, привезённая ещё дедом с той войны, только та была большая, хроматическая, а эта — простая губная, солдатская.

— Это, — сказал я, взял вещь, повертел, — не то. Не свисток и не зажигалка.

— А что?

Я приложил её ко рту, дунул для виду в одну дырку, потом в другую, будто пробовал, будто в первый раз в жизни видел такую штуку. Получился протяжный несчастный звук, похожий на то, как скрипит несмазанная телега.

— Хм, — сказал я задумчиво. — Свистулька какая-то. Детская, может.

— Какая детская, — Опарин забрал вещь обратно и стал разглядывать с недоверием. — У немца в ранце детских свистулек не бывает. У немца в ранце всё по уставу.

— А это тогда сигнальное что-нибудь, — предположил Гнутов, забыв про котелок. — Для связи. Дунул раз — значит, вперёд. Дунул два — назад.

— Тонко у них связь налажена, — сказал Дьячков. — Особенно если враг стоит в ста метрах и всё слышит.

Я снова взял гармошку, подышал в неё как бы наугад, и на этот раз вышло что-то похожее на мотив, случайно, три ноты подряд, я даже сам вздрогнул от неожиданности, будто вещь сама заиграла.

— О! — заорал Гнутов. — Она играет! Гринёв, она у тебя заиграла!

— Само вышло, — сказал я и постарался, чтобы лицо у меня было самое дурацкое, самое удивлённое лицо на свете. — Я только дунул.

— А ну ещё!

Я подышал ещё, теперь уже осторожнее, будто и правда только нащупывал, хотя пальцы сами помнили, как держать, как вести языком по прорезям, чтобы не свистело зря, и вывел что-то похожее на «Катюшу», сбивчиво, с запинками, будто угадывал на ощупь.

Гнутов чуть не упал с ящика от восторга.

— Ты гений, Гринёв! Ты чего, самородок?!

— Дед у меня, — сказал я, — на германскую тоже трофей брал, гармонику губную. Может, я через него что-то запомнил, по крови.

— По крови гармошка не передаётся, — сказал Опарин мрачно. — Это ты, парень, просто способный. А способность добром не кончается, я тебе точно говорю.

— Это почему?

— Потому что способного всегда припрягут. Сперва гармошку играть, потом ещё чего.

Тут подошёл Хвостов, сел на корточки рядом с грудой добра, взял в руки ремень с бляхой «Gott mit uns», подержал, прочитал по слогам, шевеля губами, потом сказал:

— С нами бог, значит.

— Значит, — подтвердил я.

— И как он с ними? — Хвостов покрутил бляху, глянул на неё с одной стороны, с другой. — Помогает?

Никто не нашёлся, что ответить. Хвостов положил ремень обратно в кучу, аккуратно, будто вещь была живая и могла обидеться, и больше к разговору не возвращался.

Прохор в это время колдовал над консервной банкой — крутил её так и сяк, пытался прочитать надпись, водил пальцем по буквам.

— Гринёв, а тут что написано?

Я поглядел. Обычная немецкая тушёнка, тип, который я по прошлой жизни видел на музейных стендах под стеклом.

— «Мясные консервы», — сказал я. — Год выпуска, завод какой-то.

— А почему сразу знаешь? Ты ж немецкий не учил.

— Дед научил кой-каким словам. На той войне тоже трофеи брал.

— Богатый у тебя дед, — сказал Дьячков, ухмыляясь. — Всё-то он видел, всё-то он трофейное пробовал.

— Дед у меня учёный был, — сказал я и почувствовал, как это вранье уже само себя обкатывает, как камень в ручье, гладкое, привычное. Врать про деда стало у меня делом обыкновенным, как дышать.

Прохор тем временем, не дожидаясь дальнейших разъяснений, вскрыл банку штыком, понюхал, поморщился, потом всё-таки решился и зачерпнул пальцем.

— Ну как? — спросил Гнутов, подавшись вперёд.

— Мясо как мясо, — сказал Прохор задумчиво, обсасывая палец. — Только жирное шибко. И запах чудной.

— Дай попробовать.

Банка пошла по кругу. Опарин зачерпнул последним, понюхал долго, с недоверием, наконец решился.

— Вот что я скажу, — произнёс он, прожевав, значительно, как человек, вынесший приговор. — Немец жирное любит. Это у них от нутра идёт. Расчётливый народ, а до еды жадный. У нас боец хлебом с водой обойдётся, а этому подавай в банке закатанное, с этикеткой, с печатью — всё чин чинком, всё по науке, а по сути та же тушёнка, только оформлена красиво.

— Оформление у них на первом месте, — подтвердил Дьячков. — Оттого и воюют организовано. У них небось на каждую пулю опись имеется.

— А у нас голова, — вставил Гнутов гордо.

— У нас, — сказал Опарин, — голова, а к ней ещё бы и опись не помешала, глядишь, не потеряли бы столько по первости.

Тут в разговор без стука влез старшина Гуляев — высокий, сутулый, с полевой сумкой на боку, из которой торчал угол разграфлённой бумаги.

— Так, — сказал он, оглядывая кучу трофейного добра ревнивым взглядом хозяина, у которого корова отелилась не в его дворе. — Всё трофейное сдавать по описи. Оружие, оптика, документы — в первую очередь. Остальное тоже учёту подлежит.

Наступила короткая, но плотная тишина, в которой каждый боец успел спрятать что-то за спину, за голенище, под шинель.

— Какая опись, товарищ старшина, — сказал Дьячков невиннейшим голосом, — тут же и добра-то на грош. Ремень драный, банка початая.

— Ремень сдать, банку доест, — отрезал Гуляев. — А что за штуковина у Гринёва в руках?

— Свистулька, — сказал я. — Детская. Для сигналов, может.

— Для каких ещё сигналов? — старшина протянул руку. — Ты мне зубы не заговаривай, показывай.

Я протянул гармошку. Гуляев повертел её, поднёс к уху, потряс, будто внутри могло что-то греметь, потом с сомнением приложил ко рту и дунул со всей мочи. Гармошка взвыла так, что где-то в кустах шарахнулась ворона.

— Хм, — сказал Гуляев с достоинством, будто это и было ожидаемым результатом проверки. — Действительно свистулька. В опись не пойдёт, вещь без военного значения.

И вернул мне гармошку обратно, а сам присел к куче, стал перебирать остальное, откладывая в сторону кожаный подсумок, потом флягу, потом моток проволоки — всё аккуратно, всё под запись, доставая из сумки химический карандаш и послушавливая его перед каждой строчкой.

Пока он писал, Опарин незаметно, одним неспешным движением ноги, задвинул под ящик вторую банку консервов, которую старшина ещё не видел, а Хвостов так же неспешно переложил себе в карман шинели зажигалку — плоскую, никелированную, с крышкой на пружине.

— Это чьё? — спросил Гуляев, не поднимая головы, кивнув на пустое место, где секунду назад стояла фляга в чехле.

— Чья фляга, товарищ старшина? — переспросил Гнутов с лицом самым честным, самым простодушным, на какое был способен. — Мы фляги не видали.

— Она у меня в списке была.

— Значит, обозналась, — сказал Дьячков. — Списки, они тоже путаются, бумага не человек.

Гуляев поднял глаза, обвёл всех медленным взглядом, каждого по отдельности, и по этому взгляду было ясно, что он всё понимает, всю картину целиком, но связываться с целым отделением из-за одной фляги ему было лень, а может, и совестно, потому что сам он был не из тех, кто последнюю нитку с бойца тянет.

— Ладно, — сказал он наконец, захлопывая сумку. — Оружие и оптику мне к вечеру. Остальное на вашей совести.

И ушёл, сутулясь, унося исписанный лист, на котором значилось куда меньше добра, чем лежало в яме час назад.

Как только он скрылся за поворотом хода сообщения, фляга появилась обратно из-под шинели Прохора, банка консервов вылезла из-под ящика, а Хвостов достал зажигалку и щёлкнул крышкой — раз, другой, добывая маленький жёлтый огонёк.

— Ловкая штука, — сказал он, разглядывая её со всех сторон. — У наших спичек такого нет. Спичка, она сырая — и всё, каюк, а эта хоть под дождём.

— Немец предусмотрительный, — сказал Дьячков. — Оттого и до Москвы дошёл почти.

— Не дошёл ещё, — сказал Опарин коротко, и в этом коротком замечании было столько же угрозы, сколько и надежды.

Тут заговорил Хвостов, повертев зажигалку ещё раз, глядя на неё уже без прежнего восхищения.

— Она ведь из чьего-то кармана. У живого человека была, теперь у нас.

Никто ничего не ответил. Гнутов перестал улыбаться, посмотрел на котелок в своих руках так, будто увидел его впервые, а Прохор отложил консервную банку в сторону, хотя минуту назад доедал с удовольствием.

— Оно понятно, — сказал наконец Опарин, ни к кому не обращаясь, просто в воздух, — только ведь и он бы наш забрал, доведись случай. Такая уж это война, что после боя земля чужим добром усеяна, и добро это ничьё, куда кто не подберёт.

— Всё одно, — сказал Хвостов, и защёлкнул зажигалку, спрятал её в карман, но уже не с прежней радостью, а как прячут вещь, которую взяли по надобности, а не по охоте.

Помолчали. Ветер тянул по брустверу мокрый запах глины и палёной травы, где-то далеко бухнуло раз и стихло.

— Ну а гармошку-то куда денем, — сказал Гнутов первым, стряхивая молчание, потому что молчать он не умел долго. — Раз в опись не пошла.

— Гринёву оставить, — сказал Дьячков. — У него к ней дар, сам видел.

— Дар от деда, — уточнил я.

— От деда, от деда, — Дьячков махнул рукой. — Ты, Гринёв, темнишь что-то с этим дедом, ей-богу. То он в германскую воевал, то он трофеи собирал, то он тебя музыке через кровь научил. Скоро скажешь, он тебе ещё и стрелять из чужого оружия завещал.

Я промолчал, потому что сказать мне было нечего — вернее, сказать было что, да не то, что можно.

Опарин тем временем разлил по кружкам эрзац-кофе из немецкого пакета — тёмный порошок с горьковатым запахом, заваренный на костре в котелке, том самом, из-за которого спорили Гнутов с Дьячковым, — и все по очереди попробовали, кто с сомнением, кто с интересом.

— Ну как? — спросил Гнутов.

— Горько, — сказал Прохор, скривившись.

— А ты думал, немец сладкое пьёт? — сказал Опарин. — Немец пьёт, чтобы бодрость была, а не чтобы удовольствие. У них во всём так — не для радости, а для дела. Даже кофе ихний по уставу горчит.

— Ты, Опарин, философ, — сказал Дьячков.

— Я не философ, я двадцать лет по хозяйству кручусь, мне чужое добро насквозь видеть. Чужое добро, оно как чужая жена — вроде и красиво, да непривычно, да ещё и хозяин объявится не вовремя.

Тут в проходе показался Бортников — тяжёлый, неспешный, с винтовкой на плече, оглядел кучу трофеев, кружки с кофе, зажигалку в кармане Хвостова, которую тот и не подумал прятать при сержанте, гармошку у меня в руке.

— Гуляев был? — спросил он.

— Был, — сказал Опарин. — Опись составил.

Бортников кивнул, помолчал, глядя на всё это хозяйство спокойным, тяжёлым взглядом, потом сказал негромко, ни к кому особо не обращаясь, просто в пространство между людьми:

— Оно так, ребята. Не своё оно, покуда своим не станет. А своим оно станет, когда сами добудете, не с убитого снимете.

И пошёл дальше по ходу сообщения, не дожидаясь ответа, а мы остались сидеть над котелком с чужим кофе, и никто больше ничего не сказал, только Гнутов зачем-то ещё раз щёлкнул зажигалкой Хвостова, просто чтобы посмотреть на огонёк.

Через полчаса Бортников вернулся с приказом перейти в Хомяково и проверить дорогу на восток. Трофейное оружие отнесли Гуляеву, консервы поделили по карманам, костёр залили землёй. Вышли перед сумерками; за два часа лесной дороги никто не заговорил, пока впереди не потянуло гарью.

— Стой, — сказал Бортников тихо, и отделение остановилось само, без команды, потому что все уже почуяли.

Запах пришёл раньше деревни. Дорога ещё шла лесом, между сосен, и деревни было не видно, а запах уже стоял в воздухе — сладковатый, тяжёлый, с гарью пополам, и я сразу узнал его, хотя тело моё, восемнадцатилетнее, ещё не знало, а Клинт узнал за меня, узнал раньше глаз. Я сглотнул и ничего не сказал.

— Гарь, — сказал Прохор, будто это объясняло.

— Не только гарь, — сказал Хвостов и замолчал.

Мы вышли из леса, и я понял, что тишина стоит не просто пустая, а неправильная. В деревне не лаяли собаки. Осень, вечереет, скотина должна кричать, петух должен орать хоть один запоздалый, дым из труб должен идти — а тут ничего. Ни звука. Только ветер шёл по жниву за огородами и трепал что-то белое на плетне, и я не сразу разглядел, что это наволочка, привязанная давно, ещё когда кто-то надеялся, что белый цвет спасёт дом.

Деревня называлась Хомяково, я запомнил название по указателю у околицы — покосившийся столб, буквы свежей краской, будто кто-то только вчера подновлял, готовясь к обычной жизни, которой уже не было.

Домов оставалось десятка полтора. Половина стояла обугленными срубами, чёрными рёбрами, с печными трубами, торчащими посреди пепелища, как единственное, что огонь не берёт. Другая половина стояла целой, и по этому и было видно, что здесь не бой шёл, а что-то другое — жгли выборочно, по каким-то своим счетам, и уцелевшие избы стояли с распахнутыми настежь дверями, будто их выпотрошили и ушли.

В одной такой избе, куда мы зашли по пути, посуда была свалена с полки на пол и раздавлена ногами — не унесена, не разбита в драке, а именно растоптана, как топчут муравейник, без смысла, без корысти, просто чтобы было. Перина вспорота и перья по всей горнице, будто снег выпал. На столе стояла зачем-то забытая немецкая фляга, пустая, и рядом с ней — детский валенок, один, маленький, серый от золы.

Прохор поднял валенок, покрутил в руках и положил обратно на стол, аккуратно, как ставят вещь, которую боятся уронить второй раз.

Ковалёв стоял у окна и не оборачивался.

Из погреба под соседней избой вышла женщина, немолодая, в тёмном платке, и с ней двое — старик и мальчишка лет десяти, оба шурились на свет, как будто отвыкли от него. Женщина увидела наши шапки, наши винтовки, и села прямо на землю, не упала, а именно села, медленно, будто ноги отпустили не сразу, а по частям.

Бортников подошёл первым, присел рядом, снял шапку.

— Немцы когда ушли?

— Вчера к вечеру, — сказала она. Голос у неё был ровный, усталый, без слёз — слёзы, видно, кончились раньше нас. — Мы в погребе третий день сидели, с тех пор как они пришли. Выходили по ночам, воду брали из колодца, картоху копали руками в темноте. Днём нельзя было — они по дворам ходили, кого видели — стреляли, не разбирали.

— За что жгли? — спросил Опарин, и голос у него дрогнул на последнем слове, хотя он старался, чтобы не дрогнул.

— А ни за что, — сказала женщина просто, будто отвечала про погоду. — Кто им не понравился, тех дом и жгли. Соседку мою, Пелагею, у неё сын в партизанах будто был, так это не проверяли даже, слух пошёл — и всё, спалили с сараем вместе. А Митрофановых дом цел стоит, вон он, потому что у них штаб ихний квартировал, офицер там жил, вежливый такой, всё "матка, матка" говорил, шоколадом мальчонку угощал. — Она кивнула на мальчишку, тот стоял и молчал, глядя себе под ноги. — А после, как уходить стали, он этому же мальчонке леденец дал на дорогу. Вот и пойми их.

Она рассказывала это буднично, как рассказывают про урожай или про то, что корова не доится, и я понял, что вот эта будничность и есть самое страшное — не крик, а спокойный голос, которым можно сказать про сожжённого соседа так же, как про то, что молоко скисло.

— Мужики где ваши? — спросил Бортников.

— Мужиков забрали. Кого в Германию, кого просто увели, и не вернулись. Трёх на площади... — она не договорила, махнула рукой в сторону околицы и замолчала совсем.

Бортников не стал переспрашивать. Он поднялся, отряхнул колени и пошёл к площади сам, и мы пошли за ним, и я видел, как у Дьякова, шедшего впереди, вдруг напряглась спина, а потом он остановился и коротко, резко отвернулся, шагнул в сторону, к плетню, и его вырвало.

Гнутов стоял и смотрел прямо перед собой, не двигаясь, и лицо у него было такое, какого я у него никогда не видел — пустое, без своей всегдашней смешливости, будто эту смешливость вынули из него разом и целиком.

Прохор отвернулся первым, до того, как успел разглядеть, отвернулся почти инстинктивно, и стоял спиной, дыша тяжело, глядя в поле.

Хвостов не отвернулся. Он стоял и смотрел, и лицо у него было каменное, а потом он молча пошёл к сараю за оглоблей, наверное, искал, чем копать, потому что руки его требовали дела, и через минуту он уже колотил ломом по мёрзлой пока ещё неглубоко земле у края огорода, один, без приказа, не дожидаясь, скажет ему кто-нибудь или нет.

Я смотрел на площадь и чувствовал, как во мне работает старая привычка — глаз скользит, не задерживается, считает, определяет, отодвигает в сторону то, что не нужно держать перед собой, чтобы можно было дальше делать дело. Я видел такое прежде, в другой жизни, и научился тогда не давать себе смотреть дольше секунды. И сейчас глаз тоже скользнул, послушно, как учили, — и зацепился не за то большое и общее, что было на площади, а за маленькое, за одно: за верёвку от качелей, привязанную к старой берёзе у самого края, обычные детские качели, доска на двух верёвках, и доска чуть покачивалась от ветра, туда-сюда, медленно, будто на ней только что кто-то сидел и слез на секунду. Вот за это я зацепился и не мог отцепиться, и стоял, глядя на качающуюся пустую доску, пока Бортников не тронул меня за плечо.

— Гринёв. Ты со мной.

Мы копали до темноты. Земля шла тяжело, с корнями, лопаты гнулись, у Опарина треснул черенок и он выругался длинно и зло, а потом сел на минуту, зажав голову руками, и снова встал и снова начал копать, потому что сидеть было хуже.

— Я вам скажу, — сказал Опарин, не глядя ни на кого, продолжая копать, — я после этого от немца пленного брать не буду. Просить будет — стрелять буду. Всё, кончилось моё милосердие тут, в этой земле осталось.

— А я скажу, — сказал Дьячков резко, — что нет у тебя такого права — за всех решать, кто как со своим сердцем поступит. Ты своё милосердие похорони, если хочешь, а я, может, своё оставлю.

— Много ты понимаешь, — огрызнулся Опарин.

— Может, и мало, — сказал Дьячков, — да только я знаю, что если мы такими же станем, как они, то за что тогда воюем.

Хвостов молчал всё время, работал молча, и только один раз, когда мы клали в землю то, что нашлось, перекрестился коротко, привычным движением плотника, который крестится над каждым новым срубом, и снова взялся за лопату.

— Бог это видит, — сказал он тихо, ни к кому не обращаясь, и это были единственные его слова за весь вечер.

Ковригин пришёл позже, с санитарной сумкой, осмотрел выживших — старика, женщину, мальчишку, ещё двоих, что вышли из леса, слышав наши голоса, — сказал ровно, что все истощены, но жить будут, дал что было в сумке, хлеб и сахар, и ушёл дальше по избам, искать, нет ли

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.